

Я, КАК вечный жид, жил и в шестидесятые годы, но начинал раньше. Мой доклад о Достоевском был осужден кафедрой русской литературы за антимарксизм в мае 1939 года. Почему тогда же (или несколько месяцев спустя) не посадили, трудно объяснить. После скандала на кафедре старый товарищ записывал за мной, как Эккерман за Гёте.

Наконец, машина, запрограммированная указом 1947 г. об очистке столиц и крупных городов, сработала. Под очередной праздник меня взяли (чекисты сохранили старую добрую традицию: обеспечивать народу ликование в ноябре и мае). 7 ноября 1949 года нашу камеру № 16 выводили на прогулку. Было нас 43 человека (на 19 коек). Почему-то сразу выводят всех не велели, разделили на две части, и вертухай напряженно считал, загибая пальцы (счет не был сильной стороной его интеллекта): одиннадцать, двенадцать... В этот момент инженер Витенберг, шедший за мной следом, раздумчиво сказал: "социализм — это учет".

ПОСЛЕ амнистии и реабилитации я не мог этого забыть. Что-то от морали воров вошло в мое сознание. Вор не берет оружие из рук начальника. Интеллигент не должен брать в руки партбилет. Кто взял его, поклялся силе иллюзии, как я к западу от Сталинграда, может тащить этот знак по жизни, но у меня не было больше иллюзий. В свое время некая полка вышла замуж против воли отца. Отец пожаловался императору. Николай I повелел: "Брак расторгнуть, урожденную NN считать девицей". Я никак не мог войти в роль женщины, девицество которой восстановлено высочайшей резолюцией. Лучше оставаться "люмпен-пролетарием умственного труда".

Одной из работ люмпен-пролетария оказалось реферирование германоязычной литературы о социализме. Мне сразу бросилось в глаза, что слово "социализм" ученые почти не употребляли: толковали о Zentralverwaltungswirtschaft, — слово из 28 букв, превосходившее комбинаторные способности цензурного мозга, а потому и пропускаемое в открытый доступ. Между тем, центрально-административная экономика (кстати сказать, именно центрально-административная, а не командно-административная) — это именно то, за что мне платили.

Я читал Хайека, читал Рёнке, доказывавших, что система неэффективна, но читал и Гензеля, бывшего работника имперского управления кожевенной промышленности; он показал как дважды два, что центрально-административная система идеальна в условиях войны, когда надо производить большие партии шинелей, пушек, солдатских сапог, патронов и т.п.

Более эффективной системы для войны, пожалуй, не придумаешь. Так что нынешний союз коммунистов и патриотов вполне логичен. Если величие державы выше бытовых прихотей, то ленинская экономика, без крайностей военного коммунизма, с поправкой на нэп, — как в Китае, — большой соблазн.

Впрочем, я понял еще одну вещь: что у меня в этой области не срабатывает интуиция, не рождает новых идей. Филолог по образованию, я сразу чувствую себя дома в философии, в культурологии, но не в экономике.

Случилось, впрочем, так, что мне пришлось набросать нечто вроде партийной программы. Вбаламутило дело Пастернака, почти как подкол под мечеть. И мы с покойной Ирой Муравьевой решили попробовать: нельзя ли свергнуть эту хамскую власть? За несколько часов была составлена программа будущего движения. Впоследствии я обсуждал то, что осталось в памяти, с историками и признаю, что проект можно упрекнуть в нескольких грехах: в эклектизме, популизме и анархо-синдикализме.

Больших волнений программа у нас не вызвала. Беспокоило другое: можно ли создать подполье без бесовщины подполья? Достоевского я ведь прочел от доски до доски. И еще один вопрос: как быть с духом времени? Уже начиналась открытая борьба, журнальная, книжная... И я решил поставить эксперимент: взять под свою опеку одну из подпольных групп молодежи и посмотреть, что из этого выйдет. Такая группа нашлась. Я превратил ее в семинар, обсуждавший идеи, с которыми можно выступить. Пока Никита жив, лучше не высываться — сразу раздавят. Но в период междуцарствия бояре сами не знают, что строить — тюрьму или академию наук. Тогда будем готовы сказать, что мы надумали.

Эксперимент длился два года. Факты можно толковать по-разному, но сомнения мои росли. И вдруг пришло решение. В нескольких стах метров от Кремля, прямо за стенами Третьяковской галереи, Алик Гинзбург открыто и никого не спрашивая издавал на пишущей машинке "Синтаксис" — в тетрадке 50 стихотворений, по 5 от каждого поэта, не пробившегося сквозь цензуру.

В 1960 — 1964 гг. произошел великий поворот. До 1960-го борьба с большевизмом принимала форму старомодных тайных организаций, которые одна за другой гибли, ничего не сделав. После 1964-го началось складываться диссидентство — открытое правовое и нравственное противостояние режиму. Что к этому привело? Колебания Хрущева, надежды на перемены в верхах? Стихийно сложившаяся община читателей "Нового мира"?.. **Все-таки самое главное, по-моему, — смена поколений.** Среди моих сверстников были Сахаров и Солженицын. Но лучшая часть призыва 1918 г. погибла на войне и в лагерях, оставшаяся — до печенки была отравлена страхом. А для **открытого** противостояния нужно **больше** мужества, чем для подпольной паутины. Это я испытал на себе и говорю с уверенностью. Вот первое самое главное. Второе самое главное — шок от зрелища большой крови, открывшегося после XX и XXII съездов. Интеллигенция вдруг отказалась от права на кровь по совести, на революцию. В 1958-м еще создавались тайные общества, в 1965-м — молчаливая демонстрация у памятника Пушкина со смешным, на первый взгляд, требованием: соблюдать конституцию.*

Валом повалила песня. Сперва — пародийная, на первый взгляд нелепая и кощунственная:

*Писатель русский знаменитый,
Лев Николаевич Толстой,
Под Севастополем убитый,
Лежит давно в земле сырой.*

*Его жена Софи Андреевна
Была совсем наоборот.
Она продалась Трумену,
Теперь в Америке живет.*

*Позор, позор тебе, нахалка!
Позор тебе от всех людей.
А Лев Толстой горит как факел
Коммунистических идей!*

Эмигранты первой волны не поймут этого, как не поняли они "Прогулки с Пушкиным". Но для нас все стрелы попадали в цель. Пародировалось советское использование Толстого, кампания против графини Толстой (Александры Львовны), пародировался сам неприкосновенный автор статьи "Лев Толстой как зеркало русской революции".

После XX съезда широко разлилась лагерная песня и на стыке с ней — новая, авторская. Связующим звеном можно считать Юза Алешковского. Он еще в лагере написал:

*...Вы здесь из искры разжигали пламя.
Спасибо вам, я греюсь у костра.*

Песни не нуждались в разрешении главлита, в массовом тираже — и ни в каком тираже. Окуджава, Галич, Высоцкий, Ким запомнились на слух, переписывались с кассеты на кассету. Песня (то фольклорная, то авторская) шла следом за зигзагами официального курса, подчеркивая острые углы:

*...О Сталине мудром, родном и любимом —
Закрывает письма читает народ!*

И далее, без всякой паузы:

*Лаврентий Палыч Берия
Не оправдал доверия...
Маленков, Казанович и Молотов
И примкнувший к ним Шипилов!..
За что вы Клима Ворошилова,
Ведь он ни в чем не виноват...*

Григорий ПОМЕРАНЦ Без покаяния



*Ура, ура, догоним США
По производству мяса — молока,
А после перегоним США
По потреблению вин и коньяка!..*

Из всех стихотворений Наума Коржавина едва ли не самым известным стало "Памяти Герцена", положенное на музыку Петром Старчином:

*Какая сука разбудила Ленина?
Кому мешало, что ребенок спит?*

Вслед за песней заговорило армянское радио. "Нас спрашивают, можно ли построить коммунизм в Армении? Можно, но лучше в Грузии". "А в Дании?" "Можно, но жалко". "За что закрыли армянское радио?" "За слишком длинную паузу. Нас спросили, что такое социализм? Мы ответили: дерьмо... сравнительно с коммунизмом".

Идеология стала смешной, как маркизы в комедиях Мольера. И сквозь гилью прорастало новое. Новые веяния проникли и в некоторые институты. Одной из них оказалась "Философская энциклопедия". Где-то между "к" (католицизм) и "п" (православие) несколько диверсантов — Попов, Гальцева и Роднянская — совершили тайный переворот. Все статьи по религии и философии (кроме позитивистской) передали в руки молодого, только что оспененного, просто Сережи Аверинцева. Он трудился, не покладая рук, но на все его не хватало, и однажды меня призвали на помощь: написать статью о японской философии. Я отказывался. "Поймите, — сурово сказала мне Рената Гальцева, — тогда нам придется заказать статью материалисту". Комизм этого аргумента в органе революционно-марксизма меня поколебал; я прочел английскую

И снова о "шестидесятниках" и "шестидесятничестве".

Мы исходили из того, что идеи первой "оттепели", нравственные, социальные, философские поиски интеллигенции того времени — предтеча наших сегодняшних попыток выйти из тупика.

Не коммунисты, не официальная власть, с которых как бы и взялки гладки, а именно интеллектуальная часть нашего общества искала пути выхода из духовного тоталитаризма. Именно она делала открытия и совершала ошибки.

Но насколько они оказались важны, насколько исторически весомы? Статья Г. Померанца продолжает тему, заявленную в беседе Е. Бершина с И. Виноградовым "Шестидесятники — явление философическое", а также в статье Ю. Буртина "Шестидесятники перед судом современного конформизма".

книжку и пересказал ее. Специалист, Радуга-Затуловский, написал доклад в ЦК. ЦК переслал доклад в редакцию. Редакция вызвала меня, и я полюбился фельетонным красноречием доносчика. Таких докладов было, наверное, немало. Попов иногда возил на подпись Константинову один текст, а печатал другой. Но академик Константинов был членом ЦК, ворон ворону глаз не выклюет. Попов успел опередить доносчиков, протолкнув хвалебную статью в "Правду", и по ритуалу позднего большевизма издание было неуживчиво. Оно встало на полки во всех научных библиотеках.

Были и другие "вишневые норы, в которые поповщина, — по изысному выражению Диогена, — откладывала свои яйца". Одной из таких нор оказалась ежегодная конференция "Достоевский и мировая культура" в ленинградском музее-квартире Достоевского. В 1996 г. конференцию приветствовал министр культуры, помощник президента по культуре и Солженицын, но публики собралось в 2 — 3 раза меньше. Когда буюют политические страсти, музы молчат.

ДУХОВНЫЙ поворот не захватил "Новый мир" — разве что неосознанно для редакции, подтекстами в рассказах Солженицына. Наоборот, — чем больше Суслов поощрял черносотенство, тем больше журнал либеральной интеллигенции прижимался к традиции революционного марксизма, и можно понять Солженицына, которого вывели из себя подчеркнуто марксистская, подчеркнуто ленинская критика реакционного романтизма в статьях Деметьева. Я внимательно читал "Новый мир", даже маленькие рецензии (иногда в них была большая правда). Но никогда не приходило в голову отнести в редакцию свое философское эссе. Потребность новаторства в философии совершенно удовлетворял Лифшиц, кумир студентов ИФЛИ в 1938 г.

Более того. В отношении к религиозным общинам новомиры мало отличались от Хрущева. Тендряков написал сценарий фильма, где верующие выводились как совратители молодежи. В то самое время, когда этих совратителей сажали (одна такая случай описан в прекрасной повести С.Подольского "Евангелие от Анны", изданной на средства автора в 1995 г. Интересно было бы издать два текста, Тендрякова и Подольского, под одной обложкой).

Лирики, гремевшие в Лужниках, были ничуть не ближе к начинавшимся духовным исканиям. Только стихи к роману "Доктор Живаго" пошли по рукам и кое-кого захватывали. Поэтическую мистику неизвестных поэтов не принимала не только официальная пресса, но и "Эрика" с ее четырьмя копиями. Об Андрее я до начала 70-х и не слышал.

Между тем, политика Суслова приносила плоды. Следуя примеру польских коммунистов, московскую интеллигенцию (всесоюзную и всемирную по своим интересам) раскалывали по этническому признаку. Почвенники получали привилегию на открытий "реакционный романтизм", то есть на противопоставление примитивной цельности крестьянина раздробленности и пустоте городского интеллигента, потерявшего свою русскость. На какое-то время возникла иллюзия, что крестьянин безусловно позитивнее горожанина и единственная возможная правда — крестьянская. Собственно, идея эта была задана без нажима в "Иване Денисовиче" и "Матренином дворе", но превосходство деревенской поэмы над городской — следствие политики и цензуры. Если выйти за пределы литературы, картина резко меняется. Герои Тарковского после "Иванова детства" сплошь интеллигентны; но Тарковский не уступает Шукшину. Мне не все у Тарковского понравилось. По-моему, в "Андре Рублеве" нет создателя "Спаса" и "Троицы". Но в "Зеркале", в "Солярисе", в "Сталкере", в "Ностальгии" яркие метафоры тоски по духовной цельности; в "Сталкере" и в "Ностальгии" есть замечательные образы юродивых, на мой взгляд — более глубокие, чем герой "Привычного дела" Белова (а это очень высокая планка).

В нескольких московских и питерских театрах вечные темы интеллигенции были заново найдены в классике. Это беспокоило режим, для которого Пушкин

и Гоголь стали чем-то вроде членов политбюро (выражение принадлежит Троцкому. Его спросили, кем сегодня был бы Белинский. Он ответил: членом политбюро). Оспаривалось само право гения переоценивать ценности. Омертвевший большевизм поддерживал академически мертвые спектакли. Постановка "Трех сестер" в духе театра абсурда вызвала скандал. Скандалом считалось и творчество Шнитке, Губайдулиной, Пярта; но сочинять композиторам не мешали, и музыка времен "волюнтаризма" и "застоя" — едва ли не лучшее, что дала русская культура после большого террора. Публика слушала Шнитке в фильмах и спектаклях.

Экзистенциальная тоска и прорывы к вере нашли свое выражение и в литературе: у Бродского, Ерофеева, Синявского (в "Голосе из хора"). Но вся эта литература — подпольная. Судя по журналам, интеллигенция занималась только нравственными проблемами, связанными с политической или бытом (пример — "Обмен" Трифонова), а подлинная духовная жизнь, открытая космосу, прячется в Сибири. Или, если не в Сибири, то в Абхазии или Киргизии.

ОДНАКО я увлекся и вышел за рамки хронологии. "В октябре (1964 г.) его немножечко того / И вот тогда-то мы узнали про него..."

Я принял отставку Хрущева как мобилизационное предписание. Наступило междуцарствие. Надо было попробовать, что может сделать один человек, не нарушая при этом никаких законов, соединив опыт дискуссий с опытом капустников.

Через год моя кампания увенчалась успехом. Обстановка накалилась. Три академика выступили на страницах "Правды" со статьей "В интересах истины". Истина требовала признать заслуги Сталина. Шесть молодых докторов написали письмо против реабилитации Сталина; это не напечатали. Либералы стали искать какой-то официальной формы спора с линией ЦК, и меня пригласили в институт философии выступить на конференции "Личность и общество". Недели три я репетировал свою речь. Выходило складно, но я рисковал не только собой. Готовы ли хозяева разделить риск? Подумавши, спросил Ю.А.Леваду: "Можно ли касаться Сталина?" Левада улыбнулся и ответил: "ЦК взяло курс на реабилитацию Сталина, так что можно".

В первом варианте моя речь кончалась сравнением Сталина с Крошкой Цахесом, Смердяковым и Драконом. Моя жена, Зинаида Миркина, и сосед, Ю.Я.Глазов, выслушали этот вариант дома и в один голос сказали, что меня за ноги стащат с трибуны. Пришлось искать политически проходимый выход, и я разработал противопоставление Ленина Сталину. Тогдашние радикалы мне это простили. Даже Солженицын обомлел, что прочел текст "с приятностью". Действительно приятно было хлестать сталинистов по щекам ругательствами из статьи Ленина "Памяти графа Гейдена": холуи, холопы... Почти как съест собаку начальника (есть такой рассказ у Льва Разгона).

Речь длилась не 20 минут, а сорок. Философы в штатском (имевшие полковничьи и подполковничьи звания в системе ГБ) вскакивали, пытались прервать, но их хватало за плечи и силой сажали на место. На другой день Семичастный (председатель КГБ) звонил в президиум Академии наук и требовал признать мою речь антисоветской. В Президиум вызывали Ю.А.Леваду, парторга института, и тот твердо отвечал, что речь была выдержана в рамках решений XX и XXII съездов (а потом помогал мне слегка отредактировать машинописный текст). На следующий день, 5 декабря 1965 г., состоялась молчаливая демонстрация у памятника Пушкину; Семичастный опять звонил, настаивал, что моя речь и демонстрация были частью одного заговора (вздор, я не был даже знаком с Есениным-Вольпиным, придумавшим новую форму протеста). Леваду опять вызывали; он опять повторил свой ответ.

Четвертого декабря я поставил на проигрыватель девятую симфонию Бетховена и плакал, когда хор пел "Оду к радости". Эксперимент удался. Я взял свободу слова. Остальное зависело от общества. Однако именно к этой форме борьбы общество было совершенно не готово. Текст "Нравственного облика исторической личности" читали в Пскове и Барнауле, в Харькове и Запорожье, но наплеватель в душу ЦК и выдержать условия советской легальности люди не умели. Не было ораторской культуры. Только М.И.Ромм откликнулся так, как я ждал — острой и в то же время "цивилизованной" речью. Другие примеры до меня не дошли. Выступления иногда случались, но без умения сохранить меру, и бунтарей сразу же волокли в кутузку.

Однако крот истории рыл, и даже лекарства, придуманные начальством, приносили тяжелые противопоказания. Например, тщательный отбор людей для заграничного туризма. Посылали лучших товарищей, проверенных товарищей, и именно эти товарищи, глядя на весело гниющий Запад, сами начинали гнить. Как-то я встретил у своей приятельницы, А.И.Улыги, двух незнакомых молодых людей. Держался при них осторожно. А когда они ушли, Александра Исаевна сказала мне: А вы знаете, кто такой NN (к сожалению, я забыл его фамилию)? Его выгнали из ЦК (или МК?) ВЛКСМ за частушку:

*Прощай горе, прощай грусть,
Я на Фурцевой женюсь,
Буду тискать сиськи я
Самые марксистские.*

Исторический процесс шел в сторону гниения. Хрущев намекал на причастность Сталина к убийству Кирова — и не решился опубличить доклад Шатуновской, опросившей тысячи свидетелей и полностью раскрывшей картину преступления. Покаяния не вышло. Вместе с полурасоблаченным гением всех времен и народов поползли вниз все ценности.

"С неба звездочка упала, а за ней хрусталина. / Полубила я Хрущева, как родного Сталина. / Эх, огурочки, помидорчики, / Сталин Кирова убил в коридорчике..."

Гнилая система легко развалилась, но нового крепкого материала, нравственно крепкого, не оказалось под рукой. И мы гнием на новый, демократический лад. А кто во всем виноват? Кто подготовил великую криминальную революцию?

А кто подготовил Великую французскую революцию? Вольтер и Руссо не были якобинцами, но Гейне и их припечатал:

*Это все революции плод,
Это ее доктрина.
Во всем виноват Жан-Жак Руссо,
Вольтер и гильотина.*

* Буртин указывает на тайные организации в конце 60-х. Но провинция (Саратов и Рязань) всегда запаздывает.